


Кирилл БЕРЕНДЕЕВ*г. Москва*

Красный автобус

рассказ

Я не обратил бы на него внимания — обычный старик, высокий, седовласый, бодро идущий через перекресток. И все же что-то насторожило. Остановившись на разграничительной линии, я закурил, поджидая зеленый, а он подобрался вдруг, передернулся, словно затвор. Я еще успел подумать, куда его, старого хрыча, понесло. Он сделал четыре торопливых шага по зебре и вырвал руку из кармана, обнажая пистолет.

Сколько раз я видел оружие в руках, которым оно не предназначено, столько же спешил избавиться от этой тяжести. А тут вдруг я замер, словно испугался.

Старик прицелился, выжидая, — и выстрелил, метя в лобовое стекло красного автобуса, сворачивавшего с шоссе на проспект. Сделал еще шаг, но пистолет вдруг оказался слишком тяжел. Наклонил его к земле. Рука выронила оружие. Вот странно: звука выстрела я будто не услышал, зато падение уподобилось грохоту рухнувшей балки. Разом привело в сознание. Выплюнув сигарету, я бросился к старику, а он уже сам оседал на асфальт.

Замерли все и всё окрест. До слуха еще доносился визг тормозов автобуса, когда я оказался подле старика, лежащего на земле. Он уже вытягивал левую руку с ТТ из кармана и все пытался направить дрожащий ствол в сторону автобуса. И снова рука подвела.

Носком ботинка я отбросил второй пистолет подальше и склонился над стариком, прощупывая пульс на шее. Пальцы трижды почуяли тихое биение жилки, перед тем как она утихла. И только потом, после тишины, несколько бесконечных секунд назад окутавшей старика, жизнь вокруг продолжила свой бег. Прохожие, бессмысленно взиравшие на случившееся, очнулись: кто-то достал мобильник, кто-то с любопытством спешил посмотреть, что произошло. Остальные заторопились по делам, пытаясь убедить себя, будто ничего не случилось, они огибали стороной мертвое тело, разбросанное оружие, торопясь перебежать на зеленый. А следом, когда зеленый зажегся для машин,

те без сигнала старательно объезжали нас, резко прибавляя скорость, миновав образовавшееся препятствие.

Чему я удивился в тот момент? Ведь так всегда и происходило. Разве что тому, как быстро прибыл наряд ППС, дежуривший наискось от перекрестка. Не прошло и пары минут, как двое ражих парней оказались около меня, требуя показать руки и предъявить документы. Я медленно вытянул корочку; не взяв ее, младший сержант сообщил вихрастому товарищу «это свой», не словами даже — неким еле уловимым знаком.

— Позвоните в ОВД, — я кивнул в сторону шоссе, где в полукилометре располагалось неприметное здание розыска. — Спросите капитана Диденко. Это по его части. И вызовите «скорую» и... Пистолет не трогайте руками. А вы сходите за водителем автобуса, узнайте, все ли в порядке, не ранен ли кто. И может, кто-то еще, кроме меня, видел момент стрельбы. Хотя вряд ли, конечно, — все давно разбежались.

Уж очень не хочется людям связываться с нами, а все равно приходится. Ругают почему зря, искренне ненавидят, требуют разогнать немедля и навсегда, а стоит чему случиться — бегут с заявлением. Боятся, но бегут, порой на свою голову, и, даже зная обо всем творящемся в полиции, не единожды читанном, слышанном, проверенном на себе, все равно приходят.

Наконец они зашевелились: один направился к намертво вставшему у обочины красному автобусу, второй вынул рацию и стал отпихивать зевак. Сухонький мужичок лет эдак сорока попытался что-то возразить, но отлетел дальше других без церемоний. Ропот стихал. Собравшиеся желали дожидаться новых подробностей. Трое уже снимали на мобильные.

Прибыла новенькая бело-синяя «ауди», захлопали двери.

— А, товарищ милиционер! Какими судьбами?

— Господа полицейские! Моё — вашим. — Опера сразу занялась делом, я отошел, чтобы не следить, потеснил зевак.

А в самом деле, какими? Живу на другом конце города с самого момента ухода из тогда

еще милиции, что я забыл здесь, да еще в свой выходной? Снова приехал посмотреть, походить вокруг да около? Не пойми на что надеюсь, ведь я ни разу не видел ее с тех пор, как переехала сюда, за все эти годы. Почему тогда приезжаю каждую неделю и брожу час-два вокруг дома? Ведь у нее ребенок, в это время молодые мамы обычно гуляют с колясками перед обедом...

Сегодня не успел дойти до места «дежурства». Старик помешал.

— А вот это уже интересно. — Покружив вокруг убитого, Диденко наклонился и расстегнул на нем пальто. Изнутри оно было обшито карманами, кривыми, нелепыми, видимо, самим стариком и сделанными, не наспех, но без умения. И в каждом находились бумаги, корочки документов, коробочки. Стас принялся всё это доставать, по очереди опустошая каждый карман и передавая содержимое Шевцову, нашему криминалисту, уже нащелкавшему фотографий с места и теперь неторопливо просматривавшему каждый документ.

Протокол подождет. Я тоже подошел и посмотрел, нервно сцепив руки за спиной.

Первым был извлечен на свет военный билет: взят на учет двадцатого июля сорок второго, пехотинцем отправлен под Воронеж, две отметки об отличии в боях, затем уже Сталинград, ранен, вернулся в строй, снова отметки об отличии, еще одно ранение, наградной ТТ от командующего. Комиссован второго февраля сорок третьего. Награжден медалью «За оборону Сталинграда», орденом Ленина. Сразу после войны пошел учиться на инженера, до нее работал монтажником. Восстанавливал из руин родной город. Оказалось, прибавил в возрасте, сбежав на фронт семнадцатилетним. Четыре похоронки, извлеченные из другого кармана... Фотография, несколько писем: родители погибли под бомбежкой, сестра умерла через два года от пневмонии. В пятьдесят пятом из родных не осталось никого, он отправился в Казахстан.

Следующий карман — документы с пометками — от «особой папки» до «для служебного пользования», чем ближе к нашим временам, тем секретность ниже. Кажется, его пригласили втихую работать на Тюратаме. Официально

он значился монтажником силовых установок... Это в этом казахском-то ауле, какие там установки?! Через два года замелькало название места работы: «площадка 10», изредка именуемая еще поселком Заря. Затем город Ленинск, который только недавно обрел привычное всем название — Байконур. Почтовый ящик с письмами из высоких инстанций тоже менялся — Москва-400, Кзыл-Орда-50, Ташкент-90, будто писавшие сами не знали, куда отправляют послания: не то в казахстанские степи, не то в небесное далеко. Но адресата они, видимо, находили всегда.

Истрепанная временем бумажка — характеристика, подписанная Королевым, для приема в партию. Пятьдесят девятый год — он уже работал над проектами лунных спутников, в следующем году его повысили, теперь он получил специальность ведущего инженера-конструктора и почетную грамоту, всего их в кармане, грубо сложенных вчетверо, находилось полтора десятка. Несколько значков, орден Дружбы народов, именные подарки от Мишина и Глушко, новых генеральных конструкторов, последовательно сменивших Королева: за разработку сперва авиационно-космической системы «Спираль», затем многогоразового корабля «Буран». Еще фотографии: в начале шестидесятых познакомился с девушкой, работавшей на стендовых испытаниях узлов новых ракет-носителей; два свидетельства о рождении: родился сын Аркадий, через год — дочь Елена. Письма: оба покинули отчий дом, сын отправился в Куйбышев продолжать отцовское дело, дочь — в Харьков, найдя там любимого. К этому времени начались первые испытания многогоразового советского челнока — еще одна порция грамот и благодарственных писем. Несколько лет — и труд оказался завершен — «Буран» отправился в первый полет.

Еще два года, и было понятно: первый полет стал последним. Союз развалился, космос стал разом ненужным. Старик, тогда уже старик, упорно не выходивший на пенсию, получил бумажку о сокращении, но Байконур не покинул, продолжал работать на стремительно сворачивающихся производствах, его методично гнали, он столь же упорно возвращался, трудо-

вая книжка оказалась заполненной все новыми и новыми пометками. Жена не выдержала этой гонки — скончалась в девяносто пятом. Как раз тогда, когда с незалежной Украины пришло последнее письмо: дочь уезжала в Польшу с новым мужем, просила не писать и не искать. Он еще продолжал сопротивляться — и только в начале девяносто седьмого получил окончательный расчет, переехал в Москву, к Аркадию, где тот, уволенный ведущий инженер закрытого НИИ, с женой и двумя детьми подрабатывал охранником нескольких водочных ларьков, принадлежавших бывшему курснику, чьи дела шли сперва в гору, а потом, после кризиса, разом закончились. Обоих отловили «братки» или кто-то еще, с кем уговаривались об отсрочке долга, и расстреляли за городом; тела нашли только весной — короткая заметка на последней странице «Вечёрки».

Квартиру пришлось продать, вжаться в коммуналку — затертая бумажка купли-продажи. Старик снова попытался устроиться на работу, пробовал продавать газеты по электричкам, расклеивать объявления по столбам — всякий раз дело заканчивалось однообразным битьем, о чем свидетельствовали бесполезные заявления в милицию и справки из поликлиники. Он не сломался, стал консьержем в одном из соседних со своим домов, там проработал почти пять лет, попутно выбивая положенные ветерану войны льготы и надбавки. Пришлось дважды ездить в Волгоград — в первый раз выписки из архива просто затерялись, и его погнали собирать бумажки по новой. Их все, включая билеты на поезд, он вложил в пальто. И всё вроде бы у него наладилось, пока Диденко не добрался до последнего кармана. Газетная статья, копия милицейского протокола, результаты судмедэкспертизы... Оба внука, тогда уже пятнадцати и четырнадцати лет, были найдены мертвыми с еще тремя подростками в подвале собственного дома, где они ловили кайф, замотав голову полиэтиленовыми пакетами с клеем. Тот, кто должен был эти пакеты снять, куда-то испарился, все нюхачи погибли.

«Удовольствие плебеев», — буркнул Шевцов, просматривая бумаги и подсовывая мне, я отказался взять хоть одну в руки. Не знаю, что на

меня нашло. Еще одна выписка из медицинской карточки — мать пацанов сошла с ума, помещена в психлечебницу, откуда пыталась дважды бежать. Через год скончалась. Старик снова остался один на один со всем миром.

Последним бумагам я не удивился. Летом восьмого, вскоре после войны с Грузией, он поехал в Адлер, купил там вальтер, вдобавок к своему наградному ТТ, патронов к ним, тогда это стоило дешево, а ветерану абхазы могли и вовсе подарить оружие и боеприпасы. Проведя неделю на курорте, вернулся. И четыре года ждал... А сегодня пошел стрелять в красный автобус.

Диденко протянул мне пачку, мы закурили крепчайшего табака и долго молчали.

— Даже не двузильный, — наконец сказал он, искоса посмотрев на меня, поджидая ответ. Я молчал, давась кашлем, папиросы Стаса драли горло рашпилем. Уж забыл, что он курит «Беломорканал». А отказаться от протянутой папиросы не мог. Дружили мы крепко, пусть и в давнем прошлом.

— Чего ж он так долго ждал?

— Может, рехнулся? — предположил Шевцов, упаковывая вещи старика в пакеты. — Этак по жизни ломало — еще раньше могла крыша поехать. Вот и вышел за справедливостью.

— Вряд ли тронулся, все взял, тщательно подготовился и пошел, как в последнюю атаку.

— Ну, а я о чем? Чего ему иначе дался красный автобус? Кстати, а где его водитель? Ты говоришь, стрелял в лобовое, точно? — Я кивнул.

— Записки у него не было, — запоздало сказал Диденко. — Надо у старика на квартире все осмотреть — может, забыл.

— Для сумасшедшего вполне логично.

— Да не похоже, чтоб рехнулся, — сказал я.

Мы перебрасывались одними и теми же предположениями, пока не подошел водитель. По-русски он говорил плохо, к тому же был сильно напуган, но хоть не ранен. Подал липовую регистрацию, на которую Стас не взглянул, и долго путался в словах. Диденко его отпустил и сам подошел осмотреть автобус, я потянулся за ним.

Внутри никого — все поспешили удалиться. Я только сейчас обратил внимание, что это не

был обычный рейсовый транспорт, а бесплатный челнок торгового центра, что возил покупателей до метро и обратно. Все время смотрел на старика, а вот автобус остался без внимания. Странно, ведь автобус красный, а у нас они редкость, чаще бело-зеленые. Сегодня вообще все как-то не так.

— Следов пули не нахожу, весь левый перед чист, — наконец объявил Стас. — Ты уверен, что дед стрелял именно в лобовое?

— Я находился прямо за ним, в четырех шагах.

— Руку в последний момент могло повести.

Спорить я не стал, вместо этого еще раз внимательно оглядел стекла и металл корпуса. На первый взгляд, ничего, может, только царапнуло. Стрелял с пары метров, мне отчего-то не хотелось верить, что старик промахнулся. Я уже подошел к стеклам салона, когда Шевцов неожиданно оказался передо мной с внутренней стороны, я вздрогнул и отпрянул. Он усмехнулся, уселся на переднее сиденье, наконец-то взялся за писанину.

— Здесь ни крови, ни пробоин. В молоко.

— Пулю надо найти.

— Ага, вон сзади пустырь, можешь облазить хоть весь, у тебя времени дофига, — за криминалиста влез Стас. — Ладно, сейчас утрясем формальности и сходим в его каморку.

— Может, за внуков мстил? — медленно произнес я.

— Продавцу клея или тому, кто на стреме стоял?

— Не знаю. Я ишу в его действиях логику.

— Ты сам-то, когда работал, много дел с логикой видел? Ну, то-то. Курить будешь? — я отрицательно покачал головой.

Вот странно, старик задел меня чем-то, зацепил внутреннюю струну, захотелось понять, докопаться до сути. Я думал, этот голод по работе сошел с меня еще в стажерах, но нет же — снова проявился, стоило два года побыть внештатным сотрудником. Сам не знаю, почему я не ушел совсем, а оставил себе эту лазейку... Ведь не собирался возвращаться.

Подъехала санитарная, старика запаковали в мешок, небрежно бросили на полку, зеваки стали расходиться — зрелище кончилось. Мне часто доводилось видеть, как машины сбыва-

ют пешеходов, сталкиваются друг с другом. И всегда одно и то же: на несколько мгновений — мертвая тишина, а затем, будто из ниоткуда, подступает серая, безликая толпа. Она молча смотрит, в последние годы еще и снимает. Потом выкладывает в сеть или втихую хвастается увиденным. Именно хвастается, по-другому не скажешь. Вроде и сочувственно к жертве, но так смакуя подробности: иные свидетели в раж входили, потели, махали руками, краснели лицом. Будто вымещали на неведомой жертве свои страхи, жалея, радовались, что остановились, не стали переходить, успели увернуться. Что почувствовали что-то иное, кроме холодных прикосновений нового дня.

Таня говорила мне нечто подобное, когда... Нет, не буду сейчас.

Врач с санитарной машины пообещал закончить завтра — и так дел навалом. Бухнул дверью и скрылся. Шевцов походил среди уже откровенно разбегавшихся зрителей — без толку, свидетелей не нашлось, он реквизиrowал машину и отправился в отделение. Может, потом будут, ведь я не один тогда стоял на полосе. Хотя кому они завтра будут нужны? Диденко получит заключение, отдаст дело и примется разгребать старые завалы. Как-то не хочется, чтобы о старике забывали столь быстро. Как-то... Больно мне за него, что ли? Ведь не просто же так он вышел на улицу с двумя пистолетами и полной информацией о себе. Не просто так не стал обращаться в органы, а решил свести свои счета. Может, у него в камерке все же найдется записка?..

Мы со Стасом отправились к дому — зачуханной серой шестнадцатизэтажке, обросшей остекленными балконами, как затонувший корабль раковинами. Шестой этаж, лифты не работают, обшарпанная лестница, изрисованная похабщиной, заваленная пивными банками и шприцами... Диденко позвонил — ответа не было. Взятые у старика ключами, в нарушение всех инструкций — а когда иначе? — вскрыл коммуналку.

Меня и сейчас спрашивают знакомые по

торговому центру: неужели и в Москве есть коммуналки? Когда я киваю, задавали второй: «Почему?» Что я могу ответить? Коммуналки были всегда, правда, я никогда не жил в них. Мой отец, тоже милиционер, под конец жизни дослужившийся до начальника главка, получил трехкомнатную квартиру — и это на семью из трех человек, по советским меркам просто роскошь. А напротив, тоже в трехкомнатной, была коммуналка, в большой комнате жил мой однокашник с родителями и бабушкой, в соседней — старушка, ветеран войны, и в самой маленькой — молодые, недавно вставшие в бесконечную очередь по улучшению жилья, сперва с одним, а потом с двумя детьми. Не знаю, далеко ли они продвинулись, я уж столько лет не был в доме, где родился.

И тут тоже — трехкомнатная. Комната старика — самая дальняя от входа, планировка удивительно похожа, наверное, один проект. Я замер на пороге. Первое, что бросилось в глаза, — идеальный порядок. Все разложено по полочкам, упаковано, вычищено так, словно комната выставлена внаём и ждет придирчивых постояльцев. И только на столе лежала книжица. Диденко поднял ее, хмыкнув, бросил обратно. Справка о состоянии здоровья, это нам — отмести последние подозрения в невменяемости.

— Чертов хрыч, — глухо произнес Стас, садясь за стол. — На тебя похож, кстати. — И, отвечая на мое удивление: — Любит доводить дела до упора. Чтоб всем все понятно стало.

— Не я. Мой отец.

Оперативным работником ли, или, как в последние годы, начальником, он во всем и везде, при любых обстоятельствах требовал соблюдения закона и порядка. И не важно, зыбка ли почва, гневливы небеса, он оставался кремнем до конца дней своих. И вколачивал не ремнем, но словом, простые истины, вбитые в него еще дедом, прошедшим две войны. Вкладывая накопленный двумя поколениями опыт в единственного сына, наследника династии служителей закона, методично, настойчиво, подчас сурово, но никогда не шутя. Он бывал добрым, веселым, странно, но

смеха его я не помню. Помню подарки, обязательно с наставлениями, помню улыбку, а смех... Казалось, такого с ним не могло произойти. Слишком подтянут, внимателен, строг — беспредельно строг к самому себе. Никогда не облакачивался на спинку стула, всегда мог обернуть беззаботный пустой разговор в серьезное русло. Никогда не оставался в стороне — если помогал, то со всем старанием. Он все делал так, никогда не подавая даже вида, что это что-то ему не по силам. Когда сердце шалило, когда ломило голову, когда крочил ревматизм, он через не могу шел и добирался до своей правды, вызывая одновременно и страх, и безмерное уважение.

И все это завещал мне, когда ушел в девяносто втором, когда, наверное впервые в жизни, не смог подняться по единственной уважительной для него причине — остановке сердца. И я, сокрушенный его смертью, долго стоял у постели, очень долго, пока не подъехали врачи, никуда не торопившиеся, ведь спасать уже некого. Молча стоял, не плакал, как ни уговаривала мама. Зная, что ему так будет понятней, естественней мое горе, пятнадцатилетнего парня — нет, уже мужчины. Давно мужчины, только сейчас осознавшего свое положение в семье.

А когда первый шок, первая боль ушли, на каркасе воздвигнутого отцом внутри меня здания я обнаружил лишь пустоту и холодный ветер, гулко завывающий среди недостроенных железобетонных стен. Я уговаривал себя: «Да не надо, ты ведь тоже во всем хотел идти до последнего — до упора». Хотел, но не мог. Свою твердокаменную настойчивость отец так и не сумел передать мне. А дальше ее пыталась вытравить мать, впервые оказавшаяся один на один с враз повзрослевшим сыном и безуспешно долго искавшая пути к его сердцу. Я ушел от нее в высшую школу милиции, окончил, заступил на первое дежурство, отправился на первое задание.

— Лучше дождаться соседей. Комната старика вряд ли что нам скажет. Она уже чиста от своего владельца, — нарушил я затянувшееся молчание.

На то не потребовалось много времени, че-

рез час прибыла семья: мать, моя погодка, и дочь лет десяти. Открытая дверь их обеспокоила, наличие полиции — еще больше. Они замерли на пороге, хотя Стас и пригласил их внутрь, жестом хозяина предложив ветхий диван. Потоптались и нерешительно вошли, озираясь по сторонам.

В точности как я, когда заходил в отцову комнату. Да и похожи они были, нет, не обстановкой, но стерильностью. И тем, с какой нерешительностью эти комнаты посещали гости.

Сразу вспомнилось: вот точно так же я стоял, не в силах переступить невидимый глазу порог комнаты, вроде и дверь всегда открыта, даже когда отец спал, но порог, намеченный дорожкой паркета, заставлял останавливаться. Отец вставал без будильников, всегда ровно в шесть, как солдат, всегда готовый к новым поворотам судьбы, и, как солдат, ложился около полуночи, немедля засыпая.

Если кому-то надо было побеспокоить отца, он делал это из коридора. Если его вдруг приглашали в комнату, что случалось нечасто, наступала пауза, порой долгая. Особенно, когда отец вызывал меня на допрос по поводу какой-то промашки, шалости, непослушания. Он внимательно выслушивал и выносил свой вердикт.

Диденко принялся опрашивать соседей. Извятие о смерти старика повергло их в замешательство, они тщились сказать о нем что-то подходящее случаю, но нужных слов вдруг не нашлось. Только потом полилось, подгоняемое одно другим: «Крепкий старик, столько пережил и вот...», «Печально это, хороший дедушка был...», «Строгий, но справедливый, и всегда помогал, если что...», «Подарки дарил, мне нравились...», «У меня дочь только его и слушалась...», «Дедушка интересно рассказывал, хотя и старенький...»

Я спросил про семью. Лица сразу омрачились. Да, семья... Елена Тимофеевна, как мужа своего потеряла, сразу сошла на нет, посерела вся. Они ж душа в душу жили. Даже дети не спасли, Аркадий больше оболтусами занимался, нежели мать. А после его смерти она все на

самотек пустила, прости господи, ушла в себя, и никак никто ее уже не мог вернуть. А ведь какая женщина была...

— А внуки что же? Они ж все в одной комнате жили... Сейчас даже странно подумать, что здесь, в этой комнатухе, обитали четыре человека.

— Конечно, в одной, понятно, что очень теснились. Был какой-то непорядок, разбросанная одежда, обувь на подоконнике, неубранные постели, шум голосов, споры и ссоры, беготня. Словом, дети... Сам старик от них ширмой отгораживался поначалу, ну чтоб не мешать. Потом, как постарше стали, занавеской разделили, вот здесь стояла кровать Елены Тимофеевны, вот тут, у окна, старикова, а вот тут — двухэтажная братьев. За столом они занимались вместе всегда, помогали друг дружке... Я и сама не знала, что они нюхают клей-то. Вроде нормальные, ну, баламуты, как все.

— Деньги воровали, — напомнила девочка.

Мать кивнула неохотно:

— Да, воровали по-мелкому. Я сперва не замечала...

— Как же не замечала, ты сама говорила...

— Ну да, говорила со стариком. Он многое им прощал еще. Почему и не уследил. Его пенсию они почитай всю на ветер пускали. Да и потом, Аня, отойди от шкафа, потом, мне кажется, старший кулаки в ход пускал. Я не видела, но угрожать несколько раз угрожал.

— А старик? — трудно поверить, что такому вообще можно угрожать.

— Любил он их. Или уже нет. Но прощал.

— Ты сама сказала, как их не стало, дедушка свободней вздохнул, — от Анечки ничего оказалось не скрыть.

— Он, как один остался, небольшой ремонт сделал, своими силами. Комната совсем другой стала, теперь и не узнать. Да и сам он изменился.

— Ты говорила, на похороны не ходил... — шепнула дочь.

— Скажите, — не выдержал я, — за последние дни, недели, месяцы, может, еще больший срок, он сильно переменялся?

— Вы так странно спрашиваете, — задумчиво ответила женщина. — Мне кажется. Да нет, как один остался, вроде ничего... разве что за

Аней стал приглядывать больше. Учить всякому.

— Мы вместе уроки делали, когда мама не успевала.

— А после того, как он на юг уезжал? Четыре года назад? — вспомнил я про поездку деда в Адлер.

— На юг? Нет, не помню, чтобы что-то особенное случилось.

— Я тогда в школу пошла. Дедушка провожал меня тоже...

— Да какой он тебе дедушка?! — неожиданно резко перебила мать.

Анечка обиженно замолчала и, надувшись, убежала к себе.

— Так зачем же дед пошел, — невольно вырвалось у меня, когда мы с Диденко покинули комнату и вышли в коридор, — если не мстить?..

— Может, и мстить — обществу, например, — холодно возразил Диденко.

— Не похож он на человека, который решил свести счеты с жизнью, потому что у него все плохо, а все в этом виновны. И потом он столько готовился... Ты целый конспект у него нашел, там ведь всё, — мы снова заспорили и снова ни к чему не пришли.

— Старик тебе уже будто в душу влез, ты так его выгораживать стал, будто родной, — неожиданно выпалил в ответ Диденко.

Я отмолчался. Может, и так.

Отца мне всегда не хватало. Последний десяток лет он то и дело всплывает в памяти или во снах. В последнее время мне часто снятся сны.

Он многое для меня сделал, многому научил. Старался, чтобы я рос развитым, настоящим, чтобы я шел в детский сад осваивать азы общения с себе подобными, а не сидел дома, хотя мать и не работала с самого моего рождения. Потом были секции самбо, баскетбол, теннис, а по воскресеньям он часто водил меня в тир, после мы шли в парк и ели мороженое. Видя мою любовь к детективам, он старался привить серьезное отношение к чтению. Я взялся за Достоевского, Бунина, Чехова. У матери были связи в библиотеке, она доставала редкие книги. Я чи-

тал старательно, отец потом часто спрашивал, интересовался, что я вынес из прочитанной книги. Я отвечал, иногда с удовольствием, иногда лишь бы сказать. В последние годы он стал водить меня к себе на работу в главк, общался, так сказать, к духу учреждения. Потом мы опять гуляли в парке, обсуждали.

Отец старался пригласить с нами кого-то из моих друзей, да и я был бы рад компании. Вот только не шел никто, ребята моего отца уважали, но куда больше боялись. Не хотели общаться, отнекивались, ссылались на что угодно. Он всякий раз пожимал плечами и говорил мне: «Если тебя будут ребята расспрашивать, расскажи подробней». Но спрашивали мало и неохотно, мои ответы считали отцовыми; отчасти так и было. Он строил не только и не столько фундамент моей жизни, сколько закладывал сам дом, широко, уверенно, с тем размахом, который мог себе позволить.

Не потому ли я все больше нуждаюсь в нем, архитекторе и строителе, что так и не смог сам создать в этих холодных стенах хотя бы жалкое подобие уюта. Таня... Она могла, она ведь совершенно другая...

Диденко, узнав телефон других соседей, решил опросить и их. Звонок застал тех на даче, о старике Стас выяснил и того меньше. Да, всегда пацаны очень поздно возвращались, шумели, иногда под газом приходили. И да, старику доставалось от них, точно.

Не успел убрать мобильный, как тот взорвался трелью, напоминая о неотложных делах. Стас извинился и поспешил вниз, оставив меня нога за ногу брести по лестнице. За спиной слышались торопливые шаги. Я обернулся — соседка старика торопливо спускалась по лестнице вслед за мной.

— Простите, — окликнула она меня, — я не хотела при дочке. Мне не нравилось, как старик ее обхаживает. Ну, как свою... Я знаю, сейчас Ане особое внимание требуется, я не успеваю нигде, на двух работах, но почти чужой человек, да еще... Понимаете, сколько дверь в дверь живу, а о нем ничего не знаю. О себе всегда молчит, будто камень за пазухой.

— Сына же убили, — начал я, — а потом — внуки, сноха...

— Я понимаю, — с волнением в голосе перебила она, — все понимаю, но... С Анечкой возится — тоже странно, вроде воспитателя, что ли. Не понимаю я его совсем. Может, хоть вы разберетесь, я ведь обязана знать.

Она говорила о старике так, будто не слышала час назад о его смерти или не верила в нее. Я тоже не верил. Не хотелось верить в смерть отца, думалось: ну сейчас, вот врачи приедут, они сумеют, они смогут, он снова поднимется, расправит плечи. И тут же в памяти всплывала мать, сидящая рядом с узкой, словно койка, кроватью. Вот странно, мне ни разу не приходило в голову удивляться, что они не спали вместе, что между ними не было ни близости, ни нежности, ни дружества даже. Вроде как соседи, нет, не так, вроде как домохозяйка, нанятая еще и присматривать за ребенком. Они почти не разговаривали между собой, а если и говорили о чем, то речь шла прежде всего обо мне, отец выспрашивал, уточнял, напоминал. Мать молчала, согласно кивая, говорила, лишь когда он давал на то позволение.

Вот и тогда, сидя подле кровати, не смела отойти, ждала, когда поднимется, когда даст новое напоминание, разрешение уйти. Даже когда тело забрали, долго сидела: я напомнил ей о наступившем вечере, она поспешила на кухню — забыться там за готовкой.

Странно: я ее не воспринимал никогда как мать. Вроде была полжизни со мной какая-то женщина, вроде и родная и в то же время как соседка, как домработница. Отец только раз рассказывал, как они познакомились, как он убедил после двух лет пустого брака родить ребенка, обязательно мальчика, по этому поводу они к врачам обращались. Рассказал он об этом незадолго до смерти, пытаюсь поделиться, неумело, словно не знал, как это делается, верно, на самом деле не знал. Хотел вдруг установить некое дружество, добавить тепла, но не успел. Только и рассказал про встречу, про суровые ухаживания, про прямое предложение и ее немедленное согласие. Через месяц ушел. Таня, услышав это от меня, почему-то заплакала. Я полез с вопросами, она отстранилась. Потом притянула к себе, поцеловала, даже курить разрешила, хотя терпеть не могла табака. Сколько мы были вместе, я как не по-

нимал ее, так с этим и остался. То веселая, то печальная, тихая, насмешливая, обольстительная, колкая, тонкая, нежная и неугомонная, шутливая и шумливая — я не успевал за ее переменами. Не угадывал причин, двигался вслепую, как котенок. И вот странно: чем дольше был с ней, тем больше хотелось бесшабашного веселья, безудешной радости — всего, что она успела подарить мне почти за два года общения. И черт с ним, с пониманием, я просто был счастлив ею.

А она? Подарив частицу себя, вдруг ушла, без объяснений, без склок, хотя и раздоры, и примирения для нас составляли часть жития. Внезапно квартира оказалась пустой. Я звонил, пытался встретиться с нею, но без толку. Потерпел два года, нет, даже больше, больше не смог. Теперь хожу, не понимая, не надеясь, — лишь бы увидеть. Мой дом стал еще холодней без нее. И пусть нам обоим в нем было неуютно, я ждал и верил, что она привнесет в него уют и покой. Нет, не покой, напротив, мне хотелось, чтоб ее дни со мной продолжались, суматошные, беспорядочные, неугомонные. А она словно устала от меня. Или от моего отца, ведь именно с ним с первого дня она вела бесконечные баталии. Я же, будто нарочно, призывал его. Личная шизофрения — мне хотелось и беспорядка, и покоя, тишины и суматохи. Мне все никак не удавалось выбрать что-то одно. А может, не надо было выбирать?..

Телефон пискнул. Звонил Диденко, сообщил о неожиданном свидетеле, пожелавшем дать показания о случившемся на перекрестке. Я поспешил в отделение.

Это была та самая женщина, которую я опередил, переходя за стариком проспект. Волнуется, сидя на самом краешке кресла, и посматривает то на капитана при исполнении, то на того, что в отставке. Нервно курит длинную сигарету, глубоко затягиваясь и пуская дым под ноги. Наверное, в первый раз пришла. И еще я смутил ее своим появлением. Диденко умеет доверительно общаться с прекрасным полом, у меня этого никогда не получалось. Даже с матерью. После смерти отца она сперва пыталась подстроиться под меня, будто ничего не произошло, потом, немного оттаяв,

повлиять, а после, когда я переехал, ушла в собственные бездны, откуда не возвращалась до сей поры; общаемся мы редко, открытками. Я почему-то не могу слышать ее голос.

Стас сказал, что у него задание, мол, разбейся со всем сам. Я подсел напротив, отчего-то неуверенность собеседницы передалась и мне.

Момент выстрела она видела, хотя в это время переходила дорогу, уверенно может сказать, что старик стрелял в сторону от автобуса. Немного, но в сторону, сперва целился в лобовое стекло, но затем рука пошла влево.

— У меня очень хорошее зрение, — добавила она и снова опустила голову, будто сказала лишнее.

— Но вы согласны с тем, что старик спешил с выстрелом?

Женщина кивнула и, не дав задать вопроса, продолжила:

— Мне кажется, он не просто в автобус целился. Я видела, как вы доставали из карманов пальто документы разные, награды, ордена, зрение у меня очень хорошее, — повторила она. — И почему он так сделал, я поняла. Да вы сами встаньте на его место. Всю жизнь проработал на страну, все ей отдал, а что взамен? Нищенская пенсия и забывшие все родственники. Или хуже того, умершие...

— Умершие, — повторил я, точно эхо. — Он один.

— Вот видите. Он не в автобус стрелял, нет, в автобус, но... Как вам сказать?.. Всю жизнь старался, трудился, все делал, как скажут, как считалось правильным, всего себя отдал. А вот теперь все двери захлопнулись. Его, видимо, отовсюду гнали, — снова кивок, я не мог ее перебить. — Никого он убивать не хотел, упаси бог. Просто напомнить о себе, да вот так экстремально, но показать, что он еще жив, еще что-то может, что его рано хоронить, как все — и государство, и соседи, и родственники — это сделали. Он еще жив, пытался он сказать, наверное, не раз. И... Наверное, в тюрьме ему и то лучше было бы. Его бы там больше уважали, мне кажется. Ведь в тюрьме ветеранов уважают, я слышала. Так, да? Да?

Таня точно так же старалась убедить меня в своей правоте, я точно так же закрывался от ее

слов в молчании. Мы не спорили, даже ссоры превращались в монолог, я едва мог выдать несколько слов, отвечая на вопросы, пускай и риторические. «Из тебя отец сделал болванчика», — говорила она сперва. «Из тебя отец пытался сделать человека», — говорила она перед уходом, всегда оставаясь правой.

Отец тоже не любил компромиссы, если был прав, отстаивал, если ошибался, немедленно признавал неправоту. Мне всегда была удивительна эта его черта, сколько я старался переменить ее, особенно после смерти.

Нет, на самом деле, недолго. Ведь с его смертью ушло многое из того, что поддерживало меня, я словно оказался обнажен на ледяном ветру в своей недостроенной крепости. Когда пошел в школу милиции, растерял разом все, любовно выстроенное во мне отцом. Его здание из железобетона покосилось, изувеченное, я пытался бороться, недолго.

— Да, — наконец ответил я. — В тюрьме к такому уважение. Особенно, если закон нарушен в знак протеста, не важно против чего.

— Это не протест... Это... Вы не поняли... Я видела: он шел напомнить о себе. Признать себя, если хотите... На его месте я бы так и поступила, — и снова замолчала, не решаясь раздавить сигарету в пепельнице.

Закурила следующую, от бычка, я тоже закурил. Недолго, пока тлела гильза, курили молча. Затухли одновременно. И снова взяли по одной.

— Ему ж почти девяносто, — сказал я.

— Вот именно. Он жив, он еще что-то может. Вы не понимаете. И он не стрелял в автобус, занесите хотя бы это в протокол. Или вы не будете заводить дело?

Она ушла, так и не дождавшись от меня внятного ответа. Подписала бумагу и стремительно вышла в коридор. Я забыл ей выдать пропуск, впрочем, дежурный, занятый своим делом, выпустил и так, он вообще старался не вмешиваться, с моих времен на нем висело хищение и вымогательство, за что, собственно, и перешел на положение автоответчика и теперь тихонько отбывал положенное наказание. Таких все равно не выгоняли: в органах и так малоллюдно, хорошие опера ушли, те, что прихо-

дили, часто не могли даже заполнить протокол: не умели писать или плохо знали русский. Работали как умели. Половина дел разваливалась прямо по прибытии в прокуратуру, те бешлись, но передавали дело в суд, ведь план — он один на всех: по арестам, задержаниям, раскрываемости. Приходилось выкручиваться и судьям, переписывающим в вердикт обвинение — и причины те же: малочисленность, уйма дел и такое же нежелание и неумение разбираться в хитросплетениях чужих судеб. Полпроцента оправданных — погрешность статистики и то выше.

Выкручивался и я. Брал, бил, угрожал, подчинялся давлению, привлекал в протоколы мертвые души, вышибал оттуда живые. Меньше, чем Стас, арматура внутри держала. Я старался не отстать и боялся уподобиться ему. Верно, не зря отец строил во мне, верно, не из того или так и не успел закрепить, раз все здание скрутилось при первом же порыве ветра. Но оставшегося хватило хотя бы на то, чтоб уйти. Чтоб осталась хотя бы память. Ведь прекрасно помнил свои визиты в главк двадцатилетней давности, помнил, как рушилась и тонула страна, вовлекая в водоворот всё и вся. Кроме отца. Он упирался до последнего, на него, страхась признаться, надеялись, только ему, не говоря в слух, доверяли. Подчинялись беспрекословно, не смея признаться, лишь дарили подарки, от которых он отказывался, — офицеру по должности не положено. Жутко, противоестественно слышать через двадцать лет его короткие сухие фразы. Да кто сейчас скажет про мента «офицер»? Отец же оставался им до последнего, пока пучина не поглотила его, воспользовавшись краткой передышкой в неустанном служении.

Я смял пустую пачку, бросил в урну, промахнулся. Много курю, меня уже просили ограничиться хотя бы тридцатью сигаретами в день, оказывается, я и в этом слаб.

Вышел в коридор, стрельнул у дежурного. Сделав круг, мысли вернулись к старику. Только теперь понял, что мне говорила свидетельница о старике и что я отвечал ей: «Он шел напомнить о себе». — «Ему же почти девяносто». Все считали его мертвым, даже соседка по квартире, наверное, и сноха, и уж тем паче

внуки, первыми переставшие замечать в нем человека. Он просто не должен был столько протянуть, его похоронили заранее, задолго до сего дня. Справили поминки, когда он покинул последнее место работы на Тюратаме. После должна была наступить тишина, да вот он не соглашался.

Все же трудно поверить, что решился на такой шаг, только чтобы напомнить о своем существовании, отправиться в тюрьму — не его это, не его. Пойму ли я намерения старика?

Вернулся Диденко мрачный — поцапался с прокурорскими. С ходу предложил выпить. Посидели, поговорили, под скромную закуску раздавили бутылку водки. Ночью мне снился отец, неудивительно — весь день провел с мыслями о нем, странно другое: он пришел, сел в кресло и молчал. Где-то в глубине сознания примостилась и Таня, тоже молча. Обычно, когда они встречались, каждый старался высказать свое, дело порой доходило до стычек. Когда он оказывался один, я слушал его голос, — внимал ему и после пробуждения забывал почти обо всем, о чем он говорил. В этот раз я не забыл ничего — его молчание давило, я ждал, но он не вымолвил ни слова, затем поднялся, прошелся по комнате и неожиданно вышел. Исчезла и не появившаяся Таня, незримое присутствие которой я ощутил кожей. Я остался один. В собственном сне.

И это одиночество так взволновало, поразило меня, что я проснулся немедля и, проснувшись, даже тяготился им, не находя места. И только затем, спохватившись, пошел жарить яичницу и греть воду для кофе. Закурил, отвлекся, долго смотрел в окно — кофе успел убежать.

Охранником я работаю два через два по двенадцать часов, во второй выходной снова пошел в отделение. К Диденко я зашел около десяти, раньше он не появлялся на работе. Пока ожидал появления, прочел заключение патологоанатома. Когда положил лист, Стас уже вошел.

— Даже не двужильный, — повторил он, кивнув на результаты. — Знал, что любое волнение его прикончит, и все равно пошел. Он же весь в осколках после Сталинграда, наш вивисек-

тор сказал, что с таким приданным живут лет двадцать от силы. А он... И чего пошел, можешь сказать? Ты ж вроде у нас теперь это дело ведешь.

Настроение у него было отменное, видно, вчера гора с плеч упала. Диденко уточнил: сразу три «глухаря» закрыли, да еще каких! Вся ночь гудели с ребятами в японском ресторане.

Я пожал плечами. Из головы почему-то не выходил отец, вернее, его молчаливый уход, оставивший новую пустоту. Странную пустоту, не такую пугающую, как прежде, — менее темную и холодную. Сумерки. Или напротив? Мысли приходили разные, но все не о том.

— Значит, потому и пошел, что осколки начали шевелиться. Результаты освидетельствования показывали одно — малейшее волнение могло убить. И убило: осколок перекрыл доступ крови в мозг. По мне — так еще удачная смерть. Но он рассчитывал успеть сделать свое дело до того, как случится неизбежное. Это как убийство с самоубийством — два в одном. Понимал, наверное, что шанса сказать о себе не будет, вот и подготовил все доводы заранее. Мы должны были всё понять, когда он завершил дело.

— И как ты думаешь, что он собирался сделать, помимо стрельбы в красный автобус?

Я молчал, не зная ответа. Мы просидели так довольно долго, Диденко несколько раз брался за листы результатов вскрытия и, просмотрев, откладывал в сторону. Снова он смотрел на меня сквозь сизые клубы табачного дыма; мне почему-то вспомнился сон об отце. Я потер виски, встал, прошелся. Никак не проходило. И отец ушел, и Таня. Ну, она — ладно, последний месяц-два мы с ней не могли друг с другом и пары слов связать: я больше молчал, она дулась. Сидели перед телевизором, иной раз не включая. Вроде и вместе, и каждый сам по себе. Потом... Нет, еще раньше, за полгода до ухода, она заговорила о тяжести ожидания. Раньше целовала так, будто прощались навсегда, часто плакала и всегда ждала, даже когда приходил под утро, ждала так, что я боялся говорить, куда отправляюсь: на розыск, на операцию, где схлопотал две пули и ножевое ранение. Боялся и не мог не сказать — мне нужны были и ее слова, и потаен-

ные слезы, и поцелуи, я нуждался в них с каждым разом все больше.

Потом перегорела. Заговорила не о том, куда иду, а почему. Вспоминала избитых свидетелей, взятки, поборы, шантаж, вымогательства. Но ведь и прежде знала — я ничего не скрывал от нее. Когда познакомились, подарил кольцо, купленное на деньги от закрытого дела. И после дарил — много и часто, и всегда все принималось с любовью. Потом просто принималось. И только за полгода стало отвергаться, как что-то враз оказавшееся ядовитым или будто отрава подействовала лишь тогда.

После мы спорили и ссорились из-за этого. Потом замолчали. Месяцем позже я помогал ей паковать вещи и сгружать в такси, она взяла все, кроме последних подарков. Потом я внизу нашел шубу, кольца, серьги, часы — всё, подаренное за прошедший год. Она взяла только кольцо и броши, парфюм, еще какие-то мелочи, по-своему отделив зерна от плевел. Мне показалось, в последний раз плюнула в душу. Или так любила? «Я устала бояться за тебя и бояться тебя», — последняя фраза, которую она произнесла, выходя из квартиры. Провожать до такси не велела. Когда я вышел через полчаса, сам не понимая зачем, увидел вещи. В ярости пнул шубу, попытался раздавить кольца, сережки... Ушел в дом. Мне звонили — я не подходил к телефону.

Дверь открылась: дежурный привел еще одного свидетеля. Тот самый мужичок лет сорока, которого отчаянно отпихивали детины из ППС. Я подсел, интересуюсь, откуда он взялся, вроде бы не видел его до выстрела. Оказалось, единственный из красного автобуса, кто не поленился пропихнуться к следователям. Тогда его не послушали, так, может, хоть сегодня... Ведь он отменил какую-то очень важную встречу, а потому сразу попросил у Диденко выписать ему на этот счет справку и хотел дать показания, а также свою версию случившегося.

— Разбирайся, — произнес Стас. — А мне пора свою работу делать.

И вышел. Я стал выпрашивать: свидетель показал, что находился на переднем сиденье, за кабиной водителя, как раз смотрел в окно,

когда все случилось. Видел вспышку, ему показалось, пистолет был направлен прямо на него, впрочем, зрение неидеальное, да и автобус трясло.

— Кроме вас, еще кто-то момент выстрела видел, как думаете?

Он кивнул уверенно. Рядом с ним стояли двое, тоже смотрели в окно, сзади сидела девушка, автобус был полон, многие на нем до метро добираются, особенно приезжие, кому не хочется платить лишние деньги, а кому-то они не мелочь, произнес он с укором.

Я предложил ему закурить, он отказался.

— Стараюсь избежать вредных привычек, накладно. И вам советую.

— Вернемся к выстрелу. Что говорили в автобусе?

— Псих, сдурел на старости лет. Многим показалось, что стреляли из травматика, кто-то думал, игрушечный пистолет. Ведь пуля куда не попала. Ее нашли? А отверстие?

Я покачал головой.

— Значит, игрушечный, — с некоторым разочарованием произнес он.

— Нет, настоящий, больше того — наградной.

— Тогда должен был попасть, вы хорошо искали?

Кажется, больше вопросов задавалось мне. Я напомнил мужичку о правилах поведения, он сразу сник:

— Я просто хочу понять, что случилось. У меня версия есть, думал, пригодится. Ведь вы тоже хотите разобраться. И я видел, как вы документы из старикова пальто доставали. Много документов.

— Что за версия? Все видели, но никто ничего не хочет рассказывать.

— Я думаю, он мстил кому-то. Долго выслеживал, но опоздал. Понимаете, он узнал человека на другой стороне проспекта. Поспешил к нему, а тот его увидел и все понял. Побежал прочь, старик бы его не догнал, потому выстрелил.

— А почему бы ему не пропустить автобус?

— Он в сторону пустыря побежал, автобус проедет, и все, из пистолета не достанешь. Знаете, я тоже служил в свое время, — сказал он и обиженно замолк.

Я откинулся на спинку и долго смолил, глядя в потолок. Добрался до фильтра, но тут же начал новую. Видел ли я кого-то на той стороне проспекта? Вроде нет. Переход был чист. А вот из тех, кто мог идти вдоль?.. Нет, не вспомню. Был вроде кто-то или нет? Темное пятно... Я все время смотрел на старика, на противоположную сторону проспекта, на шоссе наискось, затем увидел краем глаза движение его руки — и все. Остальное тут же пропало из поля зрения.

— Можно окно открыть? Я плохо переношу табачный дым, — голос посетителя вырвал меня из размышления.

— А вы почему так решили? Видели кого-то по другую сторону проспекта? — спросил я его.

— Нет, не видел, но подумал: ведь он долго целился... Мне показалось, очень долго. Понятно, на самом деле, секунду, но автобус будто подъехал к траектории. И потом странно, — сказал мужичок, вздрагивая (наверное, еще раз все вспомнилось), — он ведь стрелял в автобус, а даже отверстия вы не нашли.

— Он мог промахнуться.

— Отдача... Да, конечно. Но как вам версия? Ведь может же быть такое?

По мне, он целился в лобовое стекло, резко поднял руку и выстрелил, выждав от силы полсекунды. Да, рука не двигалась, цель он подпускал, меня так же учили. Или, если брать в расчет слова мужичка, упустил? Я поднялся, открыл фрамугу. Проверить эту версию не представляется возможным. Возле перекрестка трава регулярно косится, следов на ней не оставишь. Если кто и отбежал, мог оглянуться, увидеть, что произошло, и спокойно пойти по своим делам. В суматохе после выстрела о таком никто не вспомнит. Но кто это мог быть? Да и мог ли быть вообще?

Отец всегда говорил, что месть — удел слабых, подлых людишек, никогда нельзя опускаться до отмщения, воздать по заслугам может только суд, только суд, разобравшись во всех тонкостях происшествия, может решить, виновен ли человек и какого наказания заслуживает. А месть сразу убивает обоих: и не важно, кто из них палач, а кто жертва — оба перестают быть. Один — потому что убит, другой — потому что убил самого себя. Когда пойдешь

по моим стопам, помни, что и ты не суд, и не позволяй себе даже в мыслях подобного. Ты понимаешь, сын?

Кажется, отец никогда не называл меня по имени, только так, и я его именовал исключительно отцом, мне это нравилось. Вроде бы мы с ним не то что на равных, но на одной доске. Я похрустел костяшками пальцев. Кому сейчас нужны его слова? Даже я их перестал слышать. Прежде внимательный, настырный ученик, быстро сломался и пошел своей дорогой, и только ночами просит прощения и жаждет слова — прежнего, твердокаменного — как единственную точку опоры в расплывшейся жизни.

«Старик бы не опустился до такого», — зря я произнес это вслух.

Мужичонка вдруг вскочил и заговорил о пользе мести, о единственном способе, который еще только и может унять нынешний беспредел, о необходимости разрешить ношение оружия — да, первые несколько лет одна стрельба и будет, но зато потом все отморозки исчезнут. Дарвиновский отбор — он самый справедливый, никакой суд не заменит. Да что сейчас суд, полиция, прокуратура — все сгнило, везде такие же отморозки, их самих чистить и чистить.

— Вы сейчас до статьи договоритесь, — резко одернул я его.

Он резко смолк, потом сдавленно попросил прощения и вышел, позабыв о протоколе, который я так и не стал заполнять. Следом зашел Диденко, довольно смурной.

— Звонил в прокуратуру, дело возбуждено не будет. У них там очередная проверка на вшивость. Вчера председатель Следственного комитета устроил публичный разнос своим холуям, вот прокурорских и трясет. А жаль, мне бы лишняя «палка» не помешала, до конца месяца — всего ничего, а еще пятнадцать до плана, а его ж перевыполнять надо, — он вздохнул и спросил неожиданно: — Слышал, наш министр просил всех непрошедших вернуться. Вроде как амнистировал. Может, придешь?

— Ты это всерьез? — я удивленно поднял на него глаза.

Диденко кивнул.

— Наверное, нет.

— Знаешь, я... Хотя нет, от тебя другого не ждал, — немного обиделся он. — Да и опер ты был неважный. Все тебя выручать приходилось...

Он напомнил, как получил четыре пули разом, закрывая меня во время штурма притона, а едва очухавшись в больнице, завидев меня, заулыбался во всю ширь, словно ради только этого и встал на пути очереди.

— Я уж давно отрезанный ломоть. Вот правда, не смог бы вернуться.

Стас вспыхнул, но отходчив. Махнув рукой, он спросил насчет свидетеля. Я рассказывал.

— Несерьезно как-то. Столько лет готовился, а решил стрелять в самом неподходящем месте. Нет, тут в красном автобусе надо искать причину.

— Я смотрю, ты все же заинтересовался.

— Да дурь в башку лезет. И старик тоже странный. Чего ему надо? Теперь уж не скажет, — и перескочив тут же: — Зато твой вон как растрепал! И гниль, и подонки, и вообще не пойми кто... Будто все мы тут злобные пришельцы, от которых никто не знает, как избавиться. Как будто в той же стране не жили, в те же школы не ходили, в одном дворе не росли. Жен, детей не имеем. Чужие, для всех чужие. Пришельцы! — И гаркнул: — Да в зеркало надо смотреть! Вот эта сопля посмотрела бы — и мента бы там увидела. Решал всё, что ему можно. И того убить, и у этого отобрать, и так поделить, и чтоб никто не мешал. Ну и чем он нас-то лучше, чем?! Тем, что он мечтает, а мы делаем?

Он помолчал и совсем другим голосом закончил:

— Вот старик, да, он инопланетянин. Попал к нам без скафандра, и все — каюк. А мы... Нет, мы-то аборигены. Плоть от плоти, не отдерешь теперь, так что мучайтесь, никуда не денемся. За себя стоять будем.

— До упора, — едва слышно добавил я. И, оторвавшись от стены, поплелся к двери. Диденко ничего не сказал, даже не кивнул в ответ на мое прощание. Я вышел и пешком двинулся к перекрестку.

Пустота охватила теплым одеялом. Так и брел в ней, без мыслей, без чувств, пока не

добрался до места. Остановился посреди перехода, ровно на том самом месте, где я увидел, как достает из кармана вальтер и целится старик.

Уже ничего не напоминало о вчерашней трагедии. Мимо пробежал на красный сигнал светофора народ, толкая, чертыхаясь. Я бросил взгляд на часы — надо же, подошел в точности через сутки. Только сейчас людей куда больше. И красного автобуса нет.

Может, целился старик все же не в него? А может, куда проще — его на переходе и переклинил осколок, и задыхающийся мозг воспринял красный автобус как нечто, что он давно искал, ждал, думал, ушло, но нет, вернулось, из небытия восстало и снова здесь. Что-то из давно прошедшего.

Нет, скорее, из недавнего, из сегодня, накатило на память, нещадно давя и пятная кровью прежде белоснежные бока. Что-то страшное, от которого и защитит себя и всех можно лишь одним способом. Как на войне.

Зажегся зеленый, но я так и остался стоять. Все могут оказаться правы и никто не прав. Я не могу найти ответа, хотя старик оставил почти все для решения загадки.

Пустота внутри разгорелась, я расстегнул ворот кожанки. Не понимаю почему, но мне кажется, что старик все же попал в цель. Только не успел понять этого.

Я оглянулся на дома, мимо которых должен был бродить еще вчера, посмотрел на пустырь, на перекресток. Вздохнул и медленно побрел к остановке. Не сегодня, может, когда-нибудь еще, но не сегодня.

Бело-зеленый автобус подошел, открыл двери и поглотил меня.



— До Москвы и обратно!

Получив в кассе билет и три монетки по десять рублей сдачи, я вышел на перрон. В лицо пахнуло морозцем наступающей осени; еще темно, фонари освещали только заалевший восток. Поежившись, поднял ворот пиджака, прошел к началу перрона.

Вроде и пришел рано — за полчаса, но народу уже собралось — большая часть добиралась пешком, как и я, не надеясь на первый автобус. Огни появились с небольшим опозданием, ярко высветившись из-за поворота. Миг — и электричка, распугав задремавших голубей, со скрежетом остановилась.

Свободные места были, и все же я прошел один вагон, прежде чем сесть. В том, куда заскочил, было разбито стекло, да и воняло из тамбура порядком. Кому не останется выбора, придется несладко — продержаться там до Москвы. Сел на теневую сторону и прикорнул у окна, но волнение, не дававшее спокойно поспать сегодняшнюю ночь, и теперь не отпускало. Рядом со мной привычные к поездке

в два с половиной часа в один конец уже дремали работники контор и складов, уборщицы и продавщицы, официантки и разнорабочие — все те, кто наполнял в половине девятого вокзалы столицы, чтобы, рассосавшись в метро, начать трудовой день — от рассвета и до заката, от двенадцати до двадцати тысяч рублей. Мне предложили двадцать пять, если пройду дополнительное собеседование. Верно, поэтому еще почти не спал, да и сейчас трепыхался внутренне, прокручивая в голове возможные вопросы и мои бодрые верные ответы.

— Тоже бессонница мучает?

Я обернулся. Немолодой мужчина, под шестьдесят, седой как лунь, в мышинного цвета костюме и полосатой рубашке без галстука, пытался гадать кроссворд, света в электричке почти не было, еле горевшие лампы только усиливали серую муть предрассветного часа, так что, бросив свое привычное занятие, он подыскивал недреманного собеседника. Вагон давно видел сны, мы проехали две остановки, на которых почти никто не вошел и не вышел; следующая крупная «Обнинск» еще не скоро.

— Первый раз до Москвы, — ответил я так же полушепотом, чувствуя желание выговориться и уж этим заглушить тревожные мысли, не дававшие покоя с пятничного звонка. — Устраиваюсь.

— Ну, дай бог, дай бог! Небось и получать порядком будешь, не то что у нас, в Детове?

— Я в Калуге работал, в книжном.

— Неужто в Калуге еще книги читают?

Я улыбнулся.

— Нет, у нас печати-штампы. Все равно закрылись, даже поддельные никому не нужны, — это вырвалось неволью, желание рассказать о себе случайному попутчику было тем больше, чем дольше продолжался разговор. — А книги разве что вот так — в электричке...

— Да кого ж ты здесь видишь читающим? Это для москвичей, им забава — читать в поездах. — Попутчик пристально взглянул в глаза так, что я невольно поежился.

— Первый раз в такую раницу, да?

¹ Суходрев — железнодорожная станция киевского направления Московской железной дороги. Расположена в п. Детчино (Калужская обл.).

– Да. До этого в Москву ездил, разве что когда курьером работал. Два года назад, в той же Калуге.

– До Первой или Второй?

– До Второй оба раза.

– Ну, это полчаса всего, впятеро меньше. А больше в Калуге работы не сыскалось, стало быть?

Я кивнул.

– Ну да, ну да, я вот тоже сперва в Детове пытался устроиться, потом, уж после перестройки, в Медыни, Юхнове, Алексине. А там и до Москвы семь верст киселя хлебать, – продолжал откровенничать мужчина. – Ведь почему все в нерезиновую прутся? Думаешь, мёдом там мазано или зарплата выше? Выше, конечно, но... Вот скажи, тебе будут платить за проезд в этом поезде?

– Как жителю другой области, не положено, – рассудил я.

– Значит, три с половиной тыщи в месяц выкидываем только на это. Плюс тыща триста на метро, ведь ты им тоже будешь пользоваться, – складывал в уме мой попутчик.

– Все равно куда выгодней моей прежней работы. Не уговаривайте! Все прутся за деньгами, как бы издалека ни приходилось ехать, – не сдавался я.

– Да не только. Вот смотри: ты в родном Детове много знаешь печатей-штампов? Наверное, одна контора. В Калуге – от силы пяток. А в столице, даже если только по ним работать, до конца жизни занятие сыщется. Потому и прутся, что выбор такой, какого в России-матушке, как ни старайся, нигде не сыщешь. Вот и весь сказ, – подытожил мой попутчик и развел руками.

Я снова кивнул, соглашаясь.

– И такой перекося никакими судьбами никогда не выправить, что бы ни случилось, но в столице всё надежней устроиться. А заодно, – он как-то странно на меня глянул, – можно и себя устроить. Или напротив. Это уж как получится.

– Что получится? – не понял я про судьбу.

– Да вот как со мной получилось. Я ведь этой электричкой двадцать лет с малыми перерывами ездю. Сперва на Варварке работал, потом на Динамо, затем у Выхина. Еще где-то. А

вот когда тут прямо, у самого вокзала, белорусскими игрушками торговал, тогда со мною и приключилось... Семь лет назад. Я тогда уже успел бессонницу подхватить. А она на новое место устраивалась, тоже нервничала. С Калуги как раз. Цветы продавала в киоске у станции метро «Смоленская», говорила, очень хлебное место, с трудом получила. Ну, это потом, когда мы с ней познакомились.

Он помолчал немного, электричка остановилась у Малоярославца. Двери с шипением хлопнули, впустив трех-четырёх человек. Здесь – конечная, незадолго до нашего поезда от станции ушел первый на Москву со всеми, работающими на первопрестольную.

– И вот что странно, – продолжил мужчина, когда шум в вагоне поутих, – мне тогда пятьдесят стукнуло, как раз девятины после дня рождения, – он даже не улыбнулся, как-то неприятно оскалил зубы, – ей же и тридцати не было. Совсем молодка. А вот...

Солнце пробилось сквозь набежавшие ниоткуда низкие тучи, ярко высветило салон. Кто-то забормотал в полузабытьи, кто-то лишь отвернулся от косых пока лучей, еще тепло-желтых, только набиравших силу.

– Дальше – проще, – осмотрев дремлющих на солнечной стороне, он повернулся: – В октябре уже мы солнца в дороге не увидим. А вот летом ездить – морока сушая, – он снова неприятно оскалился и, замолчав враз, добавил: – На себе узнаешь. Все на себе, когда год, второй, третий в Москву гонять станешь, жизнь сразу переменится.

– Дай бог, – произнес я, а потом, невольно вспомнив о собеседовании и ощутив от этого неприятный холодок по спине, решил переменить тему: – Вы сразу сошлись, значит?

Он покачал головой. По всей видимости, воспоминания не то чтобы были неприятны моему попутчику, но задевали: вроде и говорить не хотелось, и не говорить не мог.

– Нет, конечно. Оба уже повидавшие на своем веку... Она... Ей тоже досталось. Она в Калуге жила, у вокзала. Раз встретились в электричке, проговорили до самой Москвы, второй – наверное, уже не случайно. Я именно в тот вагон сел и ее выискивал взглядом. Конечно, не случайно. Она тоже приподнялась, когда до

Суходрева электричка добралась. Обратные пути у нас разные были, но в тот, во второй, раз уж договорились друг друга встречать. Я пустой, она с сестрой и ее дочерью жила. На час позже выезжать, скорее, в охотку. А там и ее электричку отменили, она сказала: судьба. Через полгода ко мне переехала. Вроде бы зажили. Ведь как хорошо получалось — мы вместе и дома, и большую часть пути на работу, и в выходные все. Иногда нам не давали отпуска в один месяц, но выкручивались как-то. Вместе ведь.

Я улыбнулся невольно. Сам выезжал на каждые выходные и праздники в Калугу, когда еще в печатях работал. К той, что заказы в нашей конторе принимала. Люди приходили потертые, с бегающими глазками, все больше молчаливые, брали самые дешевые печати, но подушечку заказывали самую дорогую — и микротекст, и рисунок сложный, порой весь день просидишь, пока один в один сделаешь. Работали почти всегда по оттиску, а уж откуда он брался, лучше не спрашивать.

— Я сам, когда в Калуге работал... — попытался вставить я, но меня не слушали.

Мужчина погрузился целиком в свои мысли. Казалось, он нашел лучшего собеседника и толкует уже с ним.

— Четыре года так и прожили — как один день. Четыре года и один месяц, — он вздохнул. — А потом опять судьба вмешалась, как она говорила. Вроде сначала хорошее показала, ей повышение оклада вышло, какие-никакие, а премии выдавать стали. У меня дела ни к черту — так она выручала. Нехорошо это, не по мне, но молчал, сам понимаешь... Что портить себе счастье?... Да оно само испортилось.

— Вы ее заревновали? — подал я голос.

— К чему, вернее к кому? Нет, в том надобности не было. Она работающая и верная, да и чувствовал я: не бросит. Вот где-то нутром ощущал. Оба друг за дружку цеплялись. К чему нам другие были? И она во мне утешение находила, а уж я и подавно.

— Тогда что же? — спросил я, взглянув краешком глаза на часы.

Он снова неприятно усмехнулся и тут же сбросил улыбку с лица, как маску, разом обнажившую потерянное лицо не ушедшего от судьбы человека. Тем временем двери вагона

снова распахнулись, впуская шумную толпу, — Обнинск, город мирного атома, отправлял в столицу своих резервистов.

— Расписание, вот что. Расписание у нас изменилось. Работу с игрушками я потерял, надо снова в Москву... Искать, устраиваться... Тут как назло подработка одна в Малоярославце случилась: ездить позже, а возвращаться раньше. Вот так и началось...

Он заметил мои недоумевающие глаза, помолчал, не зная, что и сказать-то, но затем продолжил:

— Да просто все. Что у нас друг для дружки оставалось — часов семь от силы. Она возвращалась в девять, а в пять уже уходила — и до нового вечера. И так каждый день, кроме воскресенья. Да в субботу она раньше возвращалась на два часа. В воскресенье, понятно, отсыпалась, не железная же, хоть и молодая. Вот и что оставалось? Встречались вечером, быстро ужинали, засыпали в обнимку, а утром я уже холодную постель щупал. Год протянули, а там... Не смогли больше. Она первая это поняла, объяснилась со мной... Затем к сестре вернулась. Через полгода, может, поболее, я снова работу в Москве нашел, да только не вернулась она. Ни к чему, сказала, ни себя, ни меня новым испытанием мучить. Сняла комнату в Наре². Я узнавал от сестры — там и живет. Из цветов ее прогнали в кризис. Нашла новое место — в супермаркете. Вроде все ничего, да только одна...

— Вы уверены? — подмигнул я.

— Я видел, — произнес он, сникнув. — Да подойти не решился. Так и ушел.

В душном молчании поезд добрался до Нары. Вошло еще столько, сколько смогло войти. Кто-то попросил открыть окно, ему не ответили.

— Не дотерпели, — произнес я, разглядывая искоса своего собеседника. Он, давно уже не глядя в мою сторону, покачал головой.

— Не поверили. Это куда хуже. И не в разнице возрастов дело, а в том, что внутри. Она потому и говорила: не прошли испытания. А я... Почему-то не посмел возразить, настоять на своем. Столько раз били, вот и показалось:

² Нара — так называют г. Наро-Фоминск.

этот – крайний. Но и крайний защитить надо, хотя бы и от нас самих, – снова та же полуулыбка мелькнула на его лице. – Для меня это до сих пор как сон в электричке. Не то было, не то не было. Нет, было, но... Мы часто напротив сидели и улыбались, как блаженные, – он умолк снова.

Бекасово. В вагон втиснулись еще люди, но дальше тамбура пролезть не смогли. Нагретые солнцем клозетные миазмы поползли по салону, кто-то тяжело, устало раскашлялся, разбудив на мгновение соседей, и снова погрузился в тяжелую дремоту, длиться которой осталось минут сорок, если поезд не сбавит темпа, пытаясь нагнать расписание.

Сосед напротив зашевелился – кажется, привиделось что-то, закрылся от всего ладонью и снова погрузился в рваный, как перестук колес, сон. Мужчина поглядел на него:

– Не привык. Видать, мало ездит. Ничего. Все привыкнут. Куда ж деваться-то? Это по первым порам непривычно, вставать в ранищу, в поезде рассвет и закат встречать, приходиться невесть когда, наскоро завтракать на бегу или ужинать в вагоне, чтоб времени на сон побольше урвать. Как в армии, – он усмехнулся. – Двадцать лет езжу, заработал на бессонницу, так что всякое повидал. Вот даже такое. Тебе тоже придется.

– Дай бог, – машинально ответил я.

– Дай бог, что я рассказал, или вообще? Впрочем, лучше не отвечай, если что придет, тогда

разберешься, – и, помолчав с две остановки, добавил: – Одно только: моих ошибок не делай.

– Так и у вас тоже не все еще позади...

– Вот и я говорю: не делай, – и он замолчал окончательно.

Объявили Внуково. Еще двадцать минут – и электричка доберется до Киевского вокзала. Я некоторое время поглядывал на собеседника, но тот не открывал глаза, делая вид, что спит, или в самом деле задремал. Наконец и я прикрыл глаза, пытаясь отвлечься от всего шумного, нервного, тошно пахнущего. Некоторое время огненные круги не давали покоя, вынуждая постоянно вздрагивать. Наконец объявили «Москву – Сортировочную». Поезд еще немного потрясся по разошедшимся стыкам, будя разоспавшихся, люди окончательно расходились, поднимаясь с мест, собирая пожитки, готовясь к выходу. Мой сосед тоже поднялся, потянувшись за сумкой, повешенной над моей головой.

И – странное дело – в тот момент, когда поезд, уже выбрав себе платформу, неторопливо въезжал на нее, я провалился в мгновенный сон, не оставивший после себя следа, – лишь воспоминание о секундах, проведенных в забытьи.

Я вскочил, поднял упавшую на пол папку и поспешил к выходу.

□

Кирилл Николаевич БЕРЕНДЕЕВ

родился в 1974 году в Москве.

Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.

Прозаик, поэт.

Автор двух книг.

Публиковался в журналах «Порог», «Континент», «Слово», «Московский вестник», «Наука и жизнь», «Искатель», «Мир фантастики», «Человек и закон», «Знание-сила» и других.

Живет в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.

